

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга

Официальный сайт монастыря (<https://imonspb.ru>)

О монашеском постриге. Сщмч. Серафим Звездинский

Дорогой, родной мой брат!
Христос посреди нас!

Только что получил твоё теплое, сердечное письмо, спешу ответить. Та теплота, та братская сердечность, с которыми ты пишешь мне, до глубины души тронули меня. Спасибо тебе, родной мой, за поздравления и светлые пожелания. Ты просишь, чтобы я поделился с тобой своими чувствами, которыми я жил до времени пострижения и последующее святое время. С живой радостью исполняю твою просьбу, хотя и нелегко ее исполнить. Как выражу я то, что переживала и чем теперь живет моя душа, какими словами выскажу я то, что преисполнило и преисполняет мое сердце! Я так бесконечно богат небесными, благодатными сокровищами, дарованными мне щедродарительною десницею Господа, что правда не в состоянии сосчитать и половины своего богатства.



Монах я теперь! Как это страшно, непостижимо и странно! Новая одежда, новое имя, новые, доселе неведомые, никогда неведомые думы, новые, никогда не испытанные чувства, новый внутренний мир, новое настроение, все, все новое, весь я новый до мозга костей. Какое дивное и сверхъестественное действие благодати! Всего переплавил она меня, всего преобразила...

Пойми ты, родной, меня, прежнего Николая (как не хочется повторять мирское имя!), нет больше, совсем нет, куда-то взяли и глубоко зарыли, так что и самого маленького следа не осталось. Другой раз силишься представить себя Николаем, – нет, никогда не выходит, воображение напрягаешь до самой крайности, а прежнего Николая так и необразишь. Словно заснул я крепким сном... Проснулся и что же? Гляжу кругом, хочу припомнить, что было до момента засыпания, и не могу припомнить прежнее состояние, словно вытравил кто из сознания, на место его втиснув совершенно новое. Осталось только настоящее, новое, доселе неведомое, да далеко будущее. Дитя, родившееся на свет, не помнит ведь своей утробной жизни, так вот и я: пострижение сделало меня младенцем, и я не помню своей мирской жизни, на свет-то я словно только сейчас родился, а не 25 лет тому назад. Отдельные воспоминания прошлого, отрывки, конечно, сохранились, но нет прежней сущности, душа-то сама другая. Я-то, мое другое, дух другой, уж не я. Расскажу тебе, как постепенно благодать Божия вела меня к тому, что есть теперь. Это воспоминание полезно и мне самому, ибо подкрепит, ободрит и окрылит меня, когда мир, как говоришь ты, соберется подойти ко мне.

Я писал тебе, что внутреннее решение быть иноком внезапно созрело и утвердилось в душе моей 27 августа. 4 сентября я словесно сказал о своем решении преосвященному ректору, оставалось привести решение в исполнение. Решение было – не было еще решимости: нужно было подать прошение. И вот тут-то и началась жестокая кровавая борьба, целая душевная трагедия. Подлинно было «стена и трясысья» за этот период времени до подачи прошения. А еще находятся такие наивные глупцы, которые отрицают существование злых духов. Вот, если бы пришлось им постригаться, поверили бы тогда. Лукавый не хотел так отпустить меня.

Что пришлось пережить, не приведи Бог! Ночью неожиданно проснешься, бывало, в страхе и трепете. «Что ты сделал, – начнет нашептывать мне, – ты задумал быть монахом? Остановись, пока не поздно». И борешься, борешься... Какой-то страх, какая-то непонятная жуть сковывает всего, потом в душе поднялся целый бунт, ропот, возникла какая-то бесовская ненависть к монахам, к монашеским одеждам, даже к Лавре. Хотелось бежать, бежать куда-то далеко, далеко... Борьба эта сменялась необыкновенным миром и благодатным утешением – то Господь подкреплял в борьбе. Эти-то минуты мира и благодатного утешения я и назвал в письме к тебе «единственные, святые, дорогие, золотые минуты», а о минутах борьбы и испытания я умолчал тогда. 6 сентября я решил ехать в Зосимову пустынь к старцу, чтобы испросить благословение на подачу прошения. Что-то внутри не пускало меня туда, силясь всячески задержать и остановить. Помолился у Преподобного... и поехал. Беру

билет и только хотел садиться в вагон, вдруг из одного из последних вагонов выходит Т. Филиппова и направляется прямо навстречу ко мне. Подумай, никогда, кажется, не бывала у Троицы – индифферентна, а тут вот тебе, приехала и именно в такой момент! Я не описываю тебе, что было со мною, целый рой чувств и мыслей поднялся в душе: хотелось плакать, одна за одной стали проноситься светлые, нежно-ласковые картины семейной жизни, а вместе с тем и мрачные, страшные картины монашеского одиночества, тоски и уныния... О, как тяжело, тяжело было! И был момент, когда я хотел (с болью и покаянным чувством вспоминаю об этом) отказаться от своего решения, подойти к ней и поговорить. Конечно, если бы не благодать Божия поддерживающая, я отказался бы от своего решения, ибо страшно было. Но нет – лукавый был посрамлен. Завидя, что Т.Ф. подходит по направлению ко мне и так славно, участливо посматривает на меня, я поспешил скорее войти в вагон и там скрылся, чтобы нельзя было видеть ее. Поезд тронулся.

В Зосимовой пустыни старец много дивился и не велел больше медлить с прошением. «Иначе, – сказал он, – враг и еще может посмеяться». Так с помощью Божией я одержал блестящую победу в труднейшей борьбе. Теперь глупостью непролазною, пустяком, не стоящим внимания, кажется мне то давнее увлечение. 10 сентября я подал прошение. 26 сентября назначен день пострига. Быстро пронеслось время от 10 до 26. В этот период времени я так чувствовал себя, как будто ожидал приближения смерти. Со всем мирским прощался и со всеми прощался, и со мною прощались. Ездил в Москву на один день, прощался с нянькой и со всеми знакомыми. Словом, все чувства умирающего: и тревога, и недоумение, и страх, и в то же время радость и мир. И чем ближе становился день пострига, тем сильнее замирала, и трепетала, и тревожилась душа, и тем сильнее были благодатные утешения. Знаешь ведь: «Чем ночь темней, тем ярче звезды», так «чем глубже скорь, тем ближе Бог».

Наконец, настал он, этот навеки благословенный и незабвенный день, 26 сентября. Я был в Зосимовой пустыни. В 5 часов утра я должен был ехать в Посад. В 4 часа я вместе с одним Зосимовским братом вышел из гостиницы и направился на конный двор, где должны были заложить лошадей. Со мной ехал сам игумен пустыни о. Герман. Жду... кругом дремлет лес. Тихо, тихо... Чувствуется, как вечный покой касается души, входит в нее, и душа, настрадавшаяся от борьбы, с радостью вкушает этот покой, душа отдыхает, субботствует. Вот показался и великий авва, седовласый, худой, сосредоточенный, углубленный, всегда непрестанно молящийся. Мы тронулись. Так подъехали к станции, и поезд понес нас в Посад. В Посаде был я в 7 часов утра. Пришел к себе в номер, немного осмотрелся и пошел на исповедь. Исповедь такая подробная – все, вся жизнь с 6-летнего возраста. После

исповеди отстоял Литургию, пришел к себе, заперся и пережил то, что во всю жизнь, конечно, не придется уже пережить, разве только накануне смерти!

Лаврские часы мерно, величаво пробили полдень. Еще 6–7 часов, и все кончено – постриг. О, если бы ты знал, как дорога мне была каждая минута, каждая секунда! Как старался я заполнять время молитвой или чтением св. отцов. Впрочем, чтение почти не шло на ум. Перед смертью, говорят, человек невольно вспоминает всю свою прошлую жизнь. Так и я: картины одна за другой потянулись в моем сознании: мои увлечения, моя болезнь, папа ласковый, нежный, любящий, добрый, потом припомнилось: тихо мерцала лампадка... Ночь.. Я в постели – боль кончилась; исцеленный, сижу я, смотрю на образ Серафима. Потом, потом... Так же мерцала лампада, больной лежал родной отец, умирающий, а там гроб, свечи у гроба, могила, сестра, ты, все, все всплыло в памяти. И что чувствовал я, что пережил... Богу только известно; никогда, никогда ни за что не поймет этих переживаний гордый самонадеянный мир.

В 3 часа пришел ко мне ректор, стал ободрять и утешать меня, затем приходили студенты, некоторые прощались со мною как с мертвецом. И какой глубокий смысл в этом прощании: то, с чем простились они, не вернется больше, ибо навеки погребено.

С 4 часов началось томление, родной мой, страшно вспоминать! Какая-то сплошная тоска, туча, словно сосало что сердце, томило, грызло, что-то мрачное, мрачно-беспросветное, безнадежное подкатило вдруг, и ниоткуда помощи, ниоткуда утешения. Так еще будет только, знаешь, перед смертью – то демон борол последней и самой страшной борьбой; веришь ли, если бы не помощь Божия, не вынес бы я этой борьбы. Тут-то и бывают самоубийства. Но Господь всегда близ человека, смотрит Он, как борется, и едва увидит, что человек изнемогает, как сейчас же посылает Свою благодатную помощь. Так и мне в самые решительные минуты попущено было пережить полную оставленность, покинутость, заброшенность, а потом даровано было подкрепление. Вдруг ясно-ясно стало на душе, мирно. Серафим так кротко и нежно глядел на меня своими ласковыми, голубыми глазами (знаешь, образок, от которого я получил исцеление). Дальше почувствовал я, как словно ток электрический прошел по всему моему телу – это папа пришел. Я не видал его телесными очами, а неведомым чудным образом, внутренне, духовно ощущал его присутствие. Он касался души моей, ибо и сам он теперь – дух; я слышал его ласковый-ласковый, нежный голос, он ободрял меня в эти решительные минуты, говорил, чтобы не жалел я мира, ибо нет в нем ничего привлекательного. И исполнилась душа моя необыкновенного умиления и благодатной теплоты; в

изнеможении упал я ниц перед иконами и как ребенок зарыдал сладкими-сладкими слезами. Лаврские часы пробили в это время половину шестого. Там... там... там... там... плавно, величаво, невозмутимо прозвучали они. Умиренный, восхищенный, стал я читать Евангелие. Открыл «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В дому Отца Моего обители многи суть... Да не смущается сердце ваше, не устрашается...Иду и приду к вам, грядет бо сего мира князь и во Мне не имать ничесоже. Но да разумеет мир, яко люблю Отца и якоже заповедал Мне Отец, тако творю, восстаните, идем отсюда». Чу... ударил колокол академического храма. А этот звук... Если бы знал ты, что делалось с душой... Потом послышался тихий стук в двери моей кельи: тук... тук... тук... отпер. Это пришел за мной инок, мой друг, отец Филипп. «Пора, пойдём».

Встали мы, помолились. До праха земного поклонился я образу преп. Серафима, затем пошли. Взошли на лестницу, ведущую в ректорские покои, прошли их сквозь и остановились в последнем зале, из которого ход в церковь. В зале полумрак, тихо мерцает лампада... Дверь полуотворена, слышно, поют: «Господи, Боже мой, возвеличился еси зело, во исповедание и велелепоту облеклся еси... Дивны дела Твои Господи». Вошел я в зал, осмотрелся... Тут стоял о. Христофор, поклонился я ему в ноги, он – мне, и оба прослезились, ничего ни слова не сказав друг другу. Без слов и так было все понятно. Потом я остался один, несколько в стороне стояли ширмы, за ними аналой, на нем образ Спасителя, горящая свеча. Я стою в студенческом мундире, смотрю, на стуле лежит власяница.

Господи, куда я попал?. Кто, что я? Страшно, жутко стало... Надо было раздеваться. Все снял, остался в чем мать родила, отложил ветхого человека, облекся в нового.

Во власянице стоял я Всенощную за ширмами перед образом Спасителя. С упованием и верою взирал я на Божественный лик, и Он, кроткий и смиренный сердцем, смотрел на меня. И хорошо мне было, мирно и отрадно. Взглянешь на себя: весь белый стоишь, власяница до пят, один такой ничтожный, раздетый, необутый, в сознании этого ничтожества, этой своей перстности ринешься ниц, припадешь, обхватишь голову руками и... так лежишь... и исчезаешь, теряешься, и утопаешь в Божественном... «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас». Мерными, величавыми какими-то торжественными шагами приближался ко мне сонм иноков в клобуках, в длинных мантиях, с возженными свечами в руках подошли ко мне. Я вышел из-за ширмы, и меня повели к солее, где на амвоне стоял у аналая с крестом и Евангелием преосвященный ректор.

«Объятия Отча отверзти мне потщися...» – тихо, грустно пел хор. Едва вошел я в притвор, закрытый мантиями, как упал ниц на пол – ниц в собственном смысле, лицом касаясь самого пола, руки растянув крестообразно... потом... потом... не помню хорошо, что было... все как-то помутилось, все во мне пришло в недоумение. Еще упал, еще... вдруг, когда я лежал у амвона, слышу: «Бог Милосердый, яко Отец чадолюбивый, зря твое смирение и истинное покаяние, чадо, яко блудного сына приемлет тя кающегося и к Нему от сердца припадающего». Преосвященный подошел ко мне и поднял меня.

Дальше давал всенародно перед лицом Боговеликие и трудные иноческие обеты. Потом облекли меня в иноческие одеяния, на рамена мои надели параман, черный с белым крестом, а кругом его написаны страшные и дивные слова: «Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу». Порою так сильно, так реально дают ощущать себя эти слова. Надели на грудь деревянный крест «во всегдашнее воспоминание злострадания и уничижения, оплевания, поношения, раны, заушения, распинания и смерти Господа Иисуса Христа», дальше надели подрясник, опоясали кожаным поясом, облекли в мантию, потом в клобук, и на ноги мои дали сандалии, в руки вручили горящую свечу и деревянный крест.

Так погребли меня для мира! Умер я и в иной мир, хотя телом и здесь еще. Что чувствовал и переживал я, когда в монашеском одеянии стоял перед образом Спасителя, у иконостаса с крестом и свечой, не поддается описанию. Всю эту ночь по пострижении провел в храме в неопишемом восторге и восхищении. В душе словно музыка небесная играла, что-то нежное-нежное, бесконечно ласковое, теплое, необъятно любвеобильное касалось ее, и душа замирала, истаивала, утопола в объятиях Отца Небесного. Если бы в эти минуты вдруг подошел бы ко мне кто-нибудь и сказал: «Через два часа Вы будете казнены», – я спокойно, вполне спокойно, без всякого трепета и волнения пошел бы на смерть, на казнь и не сморгнул бы. Так отрешен был я в это время от тела! И в теле или вне тела был я – не вем. Бог весть!

За Литургией 27 сентября приобщался Святых Таин. Затем старец отвез меня в Гефсиманский скит. Тут я 5 суток безвыходно провел в храме, каждый день приобщаясь Святых Таин. Пережил, передумал за это время столько, что не переживу, наверное, того и за всю последующую жизнь. Всего тут было: и блаженство небесное, и мука адская, но больше блаженства. Кратко скажу тебе, родной мой, о моей теперешней новой, иноческой жизни, скажу словами одного инока: «Если бы мирские люди знали все те радости и душевные утешения, кои приходится переживать монаху, то в миру никого бы не осталось, все ушли бы в монахи, но если бы мирские люди наперед ведали те скорби и

муки, которые постигают монаха, тогда никакая плоть никогда не дерзнула бы принять на себя иноческий сан, никто из смертных не решился бы на это». Глубокая правда, великая истина... 22 октября я рукоположен в сан иеродиакона, и теперь каждый день служу литургию и держу в своих недостойных руках «Содержащего вся» и вкушаю бессмертную Трапезу. Каждый день праздник для меня...

О, какое счастье и какой в то же время великий и долгий подвиг! Вот тебе, родной, мои чувства и переживания до пострига и после. Когда я сам все это вспоминаю, что произошло, то жутко становится мне: если бы не помогла благодать Божия, не вынес бы я этого, что пережил теперь. Слава Богу за все!

Октябрь 31, 1908 г. Сергиев Посад

Источник: monasterium.ru

При republicации просим ссылаться на первоисточник: Иоанновский ставропигиальный женский монастырь города Санкт-Петербурга

<https://imonspb.ru>

Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45

Проезд: ст. метро "Петроградская"

Телефон: +7-812-234-24-27